

**Юрий Павлович Вяземский**  
**Странные умники**



Странные умники:[сборник] / Юрий Вяземский.: Астрель: АСТ; Москва; 2009  
ISBN 978-5-17-058684-4, 978-5-271-23466-8

**Аннотация**

Проза Юрия Вяземского необычна. Она поражает прежде всего особой тонкостью авторского мировосприятия, глубиной и точностью в постижении внутреннего мира человека.

В большинстве своем рассказы Юрия Вяземского – о молодых людях, о попытке проникновения их в тайны Вселенной и собственной души.

## Содержание

Здравствуйте, уважаемые друзья!	3
ШУТ	4
ПРЕДИСЛОВИЕ	4
ВВЕДЕНИЕ	5
Глава I	6
Глава II	11
Глава III	18
Глава IV	22
Глава V	26
Глава VI	29
Глава VII	33
Глава VIII	34
Глава IX	36
Глава X	43
Глава XI	49
Глава XII	54
ПОСЛЕСЛОВИЕ	58
ИКЕБАНА НА МОСТУ	59
НОЧНОЙ СТОРОЖ	67
ЭТЮД НА ОРГАНИЧЕСКОЕ МОЛЧАНИЕ	73
1	74
2	75
3	77
4	79
5	82
«АППАРАТ ФОГЕЛЬМАНА»	83
РАССКАЗ	89
ТАК, НАПРИМЕР, ПОЛНОСТЬЮ ОБОРВАЛАСЬ СВЯЗЬ С ТИРОЛЕМ	100
1	100
2	101
3	102
4	104
5	105
6	106
7	107
8	109
9	110
10	112
11	113
СТРАННЫЙ МАЛЬЧИК	116
ЦВЕТУЩИЙ ХОЛМ СРЕДИ ПУСТОГО ПОЛЯ	126
I	126
II	138
ПИСЬМО ИВАНУ КАРАМАЗОВУ	142

# Юрий Вяземский

## Странные умники

### Здравствуйтесь, уважаемые друзья!

*Эти рассказы и повести были написаны мною давно, некоторые – почти тридцать лет назад. С тех пор многое изменилось в окружающей нас жизни: нет теперь пионеров и комсомольцев, дети учатся в школе одиннадцать, а не десять лет; исчезли бесконечные очереди перед магазинами и в магазинах; плавленый сырок не стоит уже 15 копеек и тому подобное. Но внутренне так ли уж мы изменились за эти минувшие годы? Мы так же любим и ненавидим, так же радуемся и огорчаемся, надеемся и верим. В сущности, со временем приспособливается и изменяется только глупость, а ум остается постоянным и независимым – таким, каким был и тридцать лет назад, и во времена Достоевского, и в Древней Греции.*

*Короче (распространенное сейчас слово), я решил ничего не менять в своих ранних сочинениях. Более того, готовя эту книгу, я с удивлением для себя обнаружил, что с различными умниками и умницами я стал знакомиться значительно раньше, чем пришел на телевидение и придумал программу для умных школьников и не менее умных телезрителей самых разных возрастов, призваний и профессий. Я уже тогда о них думал, представлял их себе и пытался описать их интересную и трудную жизнь.*

*Книгу эту я назвал «Странные умники». Ибо, как мне кажется, умные люди всегда несколько странны и для окружающих, и для самих себя в неожиданных жизненных ситуациях. Вы согласны со мной? Боюсь, если Вы умный человек, Вы вынуждены будете со мной согласиться.*

*Будьте счастливы и здоровы!*

*Искренне Ваш Юрий Вяземский*

# ШУТ

## Повесть

*Посвящаю Зое Дмитриевне Вяземской*

### ПРЕДИСЛОВИЕ

Липкий от пыли, между целлофановым пакетом со сломанными игрушками и стопкой пожелтевших газет на антресолях...

Я тут же прочел его, даже не отерев от пыли обложку, ощущая вкус этой пыли у себя на языке, так как все время приходилось слюнявить палец, чтобы перевернуть слипшиеся страницы. И поначалу решил: оставлю все, как есть, лишь слегка отредактирую, исправлю орфографические ошибки и отдам машинистке на перепечатку, а затем отнесу в редакцию. И название оставлю прежнее, то, которое дал ему его автор: «Дневник Шута».

Но потом подумал: нет, так нельзя. Во-первых, «Дневник» слишком велик: почти двадцать тонких тетрадок, уложенных в футляр-папку из картона и синего холста с петлями и костяными пуговицами; много в нем ненужных подробностей, которые, ничего не сообщив читателю, лишь отнимут у него время.

Во-вторых, стиль и язык «Дневника» весьма необычны, а некоторые выражения и понятия, используемые автором, вообще недоступны пониманию без соответствующего комментария, довольно пространного, подчас по объему превышающего собственно комментируемое. К примеру, что могут означать выражения: «Готовил себя к Исследованию, как бойцового петуха для царя», или «Лет ему было еще долго до того, когда не колеблются», или «Он встал с постели о пятой страже»?.. Ну вот, видите!

В-третьих – и это, пожалуй, основное, что заставило меня провести самостоятельное исследование, – даваемые в «Дневнике» интерпретации часто вступают в противоречие с реальными жизненными событиями и свидетельствуют о сознательном или нечаянном искажении последних его автором. Многие также явно преувеличено, приукрашено, так сказать, эффекта чистого ради, гиперболизировано до непозволительной крайности... Ну да вы сами дальше поймете!

Без «Дневника» мне, конечно, не обойтись, но я буду прибегать к нему лишь в тех случаях, когда он будет действительно необходим для моего исследования, которое назову следующим образом:

#### **ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ ШУТА**

Исследование по материалам «Дневника Шута»

## **ВВЕДЕНИЕ**

Жил-был Шут. Но никто из окружающих не знал этого настоящего его имени. Отец звал его Валентином, мать – когда Валенькой, когда Валькой. В школе называли его Вале́й.

И только он сам знал свое истинное имя – Шут, гордился им, оберегая от чужих любопытных ушей и нескромных языков, носил его глубоко под сердцем, как самую большую тайну и самое сокровенное богатство, и лишь по вечерам, наедине с самим собой, дождавшись, пока родители лягут спать и не смогут нарушить его одиночество, заносил это имя в свой «Дневник». Почерк у Шута был корявый и неразборчивый, но имя свое он всегда выписывал с чрезвычайной тщательностью, едва ли не каллиграфически, так что рядом с другими словами оно смотрелось неожиданно и странно, точно чужой руке принадлежащее.

## Глава I ПРОЗВИЩЕ

*Однажды Володя Кондратов спросил Шута: «Послушай, Валя, почему у тебя нет прозвища? Ведь у всех в классе есть какое-нибудь прозвище». Шут ответил ему вопросом на вопрос: «А у тебя тоже есть какое-нибудь прозвище?» – «Да, меня все зовут Кондриком». – «Вот видишь, – улыбнулся Шут. – А меня все зовут Валей» («Дневник Шута», тетрадь 2, страница 25).<sup>1</sup>*

Странное дело! С его фамилией – Тряпишников, которая сама просилась на язык, дабы смастерить из нее эдакое...

И в то же время никто в классе не только не позволил бы себе подшутить над фамилией Шута, но и произнести ее всуе не рискнул бы. Меньше всех Толька Щипанов, который когда-то имел неосторожность обзвать Шута Барахолкой. Как отреагировал на это Шут, нам точно неизвестно, но прозвище пристало не к Шуту, а к самому Тольке Щипанову, которого с той поры в школе называли не иначе как Толька Барахолкин или просто Барахолка. И надо сказать, что прозвище это удивительным образом соответствовало облику Щипанова: он был расхлябан, разболтан и неудержимо болтлив, к тому же одет всегда удивительно неряшливо. Даже учителя нередко награждали его замечаниями типа: «Послушай, Щипанов, ты не на барахолке, а на уроке».

Досталось от Шута и двум девчонкам, двум неразлучным подружкам, Лене Гречушкиной и Маше Колесниковой, которые вдруг взяли в привычку, обращаясь к Шуту, называть его исключительно по фамилии: «Послушай, Тряпишников» – и тому подобное. Впрочем, они всех одноклассников называли по фамилии, но Шуту эта манера обращения пришлась не по вкусу, и однажды, когда две неразлучные подружки были уличены учителем в том, что списали друг у друга классное сочинение...

Они и до этого частенько списывали друг у дружки, но всякий раз, когда их на этом ловили, вид имели самый невинный. В классе уже к этому привыкли. Поэтому, когда учительница, раздавая сочинения, вдруг вызвала обеих подружек к доске, все тотчас же смекнули, в чем дело. Невдомек было лишь одним подружкам. Покорно и безбоязненно поднялись они из-за стола и засеменили к доске, одна толстенькая и краснощекая, а другая худая, бледная, с пышной кудрявой шевелюрой. И тут Шут изрек следующее четверостишие:

Свинью с овцой куда-то гнали,  
Но вот куда – свинья с овцой не знали.  
Их гнали на убой,  
Свинью с овцой.

За эту декламацию и главным образом за дружный гогот, который она вызвала в классе, Шуту было сделано замечание, но с тех пор за подругами закрепилось прозвище – Свинюшкина с Овчушкиной. Иначе их не называли.

В общем, едва ли в классе нашлось хотя бы одно прозвище, к которому Шут, как говорится, не приложил бы руку. Причем делал он это будто невзначай. Подметит в характере или в облике своего одноклассника какую-нибудь типичную для того смешную черточку, как бы случайно обратит на нее внимание коллектива – и готово прозвище. Выходит, что не Шут его придумал, а весь класс вдруг сделал открытие и единодушно пришел к выводу,

---

<sup>1</sup> Нумерация страниц в тетрадях сквозная.

что, скажем, Вася Соболев никакой не Вася и даже не Соболев, как его называли чуть ли не с первого класса, а самый что ни на есть Митрофанушка, и звать его отныне будут только так и не иначе, так что вскоре он на Васю и откликаться разучится.

У Шута же никогда не было прозвища, за исключением того, которое он сам себе придумал и которого никто в классе не знал. Да и непохож он был на шута, вернее, на тех школьных шутов, вертлявых, никчемных болтунов, которые есть почти в каждом классе и все шутовство которых заключается лишь в том, чтобы кривляться на уроках, болтовней своей мешать учителям и надоедать сверстникам одними и теми же глупыми выходками. Наш Шут глубоко презирал эту фиглярничающую братию и никогда не считал их за настоящих шутов. Поведением он был молчалив и необщителен. Наружность также имел далеко не шутовскую, во всяком случае, не ту, которой обыкновенно наделяны шуты в мировой литературе: не горбат и не хром, не кривобок и не косоглаз. Долговязый такой паренек с ничем не примечательным лицом, разве что чуточку сутуловат. Вот как он себя представляет в своем «Дневнике»:

Чуткая поступь и сумрачный взгляд.  
Ничем не расстроен, ничему и не рад.  
Шествовал молча, обликом груб,  
Даже улыбка не трогала губ

*(т. 4, с. 79).*

Однажды в класс, в котором учился Шут, пришел новенький, некто Владислав Разумовский. Высокий красивый парень, из тех, кого обычно называют грозой женских сердец. Сам он себя в любом случае считал неотразимым, и это чувствовалось в каждом его движении: в том, как он разгуливал по школьному коридору на перемене, прямой, как балерина, горделиво неся красивую, заботливо причесанную голову, устремив задумчивый взгляд своих серых с поволокой глаз куда-то вдаль, поверх суевающейся малышни и шушукающихся семиклассниц, словно видел в этой дали то, что лишь ему одному было дано увидеть; в том, как сидел на уроке, откинувшись на спинку стула, презрительно шурился, когда отвечали мальчишки, и снисходительно улыбался, когда к доске вызывали девочек; в том, как говорил, общаясь со своими новыми одноклассниками, нарочито медленно, как бы с неохотой.

Этот самый Разумовский на первом же уроке, когда учительница, отмечая в журнале присутствовавших, произнесла фамилию Тряпишников, вдруг громко фыркнул, обернувшись, смерил Шута взглядом, а потом повернулся к соседу и заявил:

– Тряпишников?! Бывают же такие смешные фамилии!

Класс так и обмер, взгляды тотчас же устремились на сумрачную фигуру, сидевшую на последней парте в дальнем углу класса. Но Шут промолчал, а перед началом следующего урока вдруг подошел к Разумовскому и задумчиво произнес:

– Послушай, что-то я тебе хотел сказать...

Шут долго изучающе смотрел на Разумовского, так, что тому стало не по себе от этого взгляда, и, оглядевшись по сторонам, он спросил:

– Что?.. Что такое?

Но Шут с досадой махнул рукой и отошел в сторону, бросив чуть ли не со злостью:

– Да нет! Это не тебе!

Те, кто видел эту сцену, – а Шут позаботился о том, чтобы при ней присутствовал почти весь класс, – сразу же поняли, что Шут принял брошенный ему вызов. Этот прием Шута был хорошо известен. Обычно Шут им представлял очередную свою жертву. Один Разумовский ничего не понял, покраснел и сердито крикнул вслед:

– Эй, как там тебя, Тряпишников! С твоей фамилией я бы вел себя скромнее!

Но Шут и на этот раз не ответил, молча проследовал к своему месту и, лишь садясь за парту, разочарованно вздохнул и пробормотал себе под нос, но так, чтобы слышали другие: «Какой плохой ответ. Совсем никудышный».

Теперь в классе уже не сомневались в том, что Шут вознамерился разделаться с новичком, и никто, понятно, не хотел пропустить увлекательного зрелища, особенно девчонки, на которых Разумовский, конечно же, произвел известное впечатление. На уроках с Разумовского теперь не спускали жадных взоров, на переменах старались держаться к нему поближе, чтобы, не дай Бог, не прозевать атаки Шута, как всегда неожиданной.

Разумовский, естественно, не мог не заметить этого повышенного к себе внимания, но объяснил его своей неотразимостью и способностью мгновенно покорять женские сердца. О столкновении с Шутом он быстро забыл, полагая, что поставил на место «этого Тряпишника».

Шут, однако, не спешил с ответным ударом. Он вдруг вообще перестал замечать обидчика, позволял ему называть себя по фамилии, на уроках оставлял без комментариев задиристые и малоостроумные реплики, которые Разумовский, освоившись, начал все чаще вставлять в объяснения учителей и ответы учеников. К полнейшему разочарованию одноклассников пропустил он мимо ушей и такую выигрышную, по всеобщему мнению, ситуацию, когда француженка, Жоржетта Ивановна, которая не только преподавала французский язык, но и была француженкой по национальности, принялась восторгаться «аристократической» фамилией новичка. В ответ на дифирамбы Разумовский, размякший от удовольствия, кокетливо опустил глаза, а у девчонок от напряжения дух перехватило: «Вот-вот сейчас! Сейчас обязательно! Не может быть, чтобы не сейчас!» Все взгляды обратились на Шута, но тот угрюмо смотрел в окно и не проронил ни слова.

Многие уже отчаялись в своем ожидании и ждать перестали. Но тут-то все и произошло.

Шел урок физики. Физик, седовласый педант, которого в школе все уважали, точнее, побаивались; который называл всех своих учеников на «вы» и по фамилии, даже пятиклассников; который всегда говорил тихо и вообще переходил на шепот, когда кто-нибудь шумел и не слушал, а потом спрашивал того, кто шумел, и, если тот не мог ответить на вопрос, ставил ему двойку... Так вот, физик написал на доске условие задачи и предложил ее решить желающим. Задача была из тех, которые с виду кажутся простыми, даже пустяковыми, но решаться не хотят, тая в себе небольшую, но труднообнаружимую хитрость. Физик питал слабость к такого рода задачам и, как подозревали в классе, сам их придумывал.

Три человека выходили решать задачу, но никто из них не мог ее осилить: потерянно крутились у доски, пачкали мелом затылки, а потом, виновато улыбаясь, садились на место. Разумовский наблюдал за всем этим с брезгливым выражением лица, откинувшись на спинку стула и вытянув под столом свои длинные ноги, а когда третьего волонтера постигла неудача, вдруг взял и заявил:

– У нас в математической школе такие задачи решал любой пятиклассник.

– А вы учились в математической школе? – заинтересовался физик.

– Да, приходилось, – небрежно ответил Разумовский.

– Тогда предлагаю вам выйти к доске и продемонстрировать свое умение.

Читатель, наверно, уже догадался о том, что произошло дальше?

Да, так оно и было. Надменный и самодовольный вышел Разумовский к доске, легко и размашисто решил задачу, а потом, ни слова не говоря, отправился на место, прямой, как балерина, вскинув голову и глядя куда-то вдаль.

Физик выждал, пока он сядет, а потом произнес мягким своим баритоном:

– Ученик Разумовский с задачей не справился.



– То есть как это?! Я же все решил! – От удивления и негодования Разумовский вскочил со стула.

– Ученик Разумовский с задачей не справился, – невозмутимо, по обыкновению своему понижая голос в ответ на шум, повторил физик. – Пятиклассники, возможно, и решают такие задачи, и, наверно, именно так, как решил ее сейчас ученик Разумовский. Впрочем, полагаю, что в математической школе даже пятиклассник, прежде чем приступить к решению подобной задачи, обратил бы свое внимание на то обстоятельство, что одно заданное условие противоречит другому.

Разумовский открыл было рот, но так и не нашел, что возразить, а физик продолжал, не глядя на Разумовского, а обращаясь ко всему классу:

– Совершенно верно, ученик Разумовский. Эта задача не имеет решения. Поэтому, будьте любезны, встаньте со своего места, подойдите к доске, сотрите все, что вы написали, и под условием предложенной задачи напишите крупными, четкими буквами всего четыре слова: «Задача не имеет решения».

– Да нет... я... я ведь... – бормотал Разумовский. Жалкое зрелище являл он собой в эту минуту. Лицо его покрылось пятнами, взгляд метался по доске, тщетно пытаясь отыскать на ней хотя бы малейшую соломинку, за которую можно было бы уцепиться и спасти репутацию. Разумовский не желал признавать свое поражение, несмотря на повторное приглашение физика, не хотел выходить к доске, а стоял, вцепившись обеими руками в край стола, оскорбленный, растерянный и смешной.

Класс молчал затаив дыхание, готовый взорваться в любую минуту и как бы загипнотизированный ожиданием собственного взрыва. И в этой взрывоопасной тишине вдруг кто-то горестно вздохнул, и вслед за этим отчетливый, без намека на иронию, а искренним состраданием наполненный голос произнес:

– Эх ты! Фамилия!

И класс взлетел в воздух, схватился за животы, заерзал на стульях и затрясся в спазмах нестерпимого хохота. Даже педант-физик не удержался от улыбки. Лишь два человека не смеялись. Один в бессильной ярости озирался по сторонам, а другой, мрачный и угрюмый, сидел в дальнем углу класса и смотрел в окно.

Не станем докучать читателю описанием дальнейших событий. Отметим лишь, что после этого случая за Разумовским закрепилось прозвище Фамилия: «Спроси у Фамилии, он тебе скажет», «Слышь, Ленка, а как тебе Фамилия? Ничего парниш, правда?», «Господа, а у Фамилии нашей завтра день рождения» и так далее. А то обстоятельство, что Фамилия, когда приходилось ему слышать подобное к себе обращение, страшно уязвлялся и чуть ли не с кулаками кидался на обидчика, лишь усиливало искушение величать его так, а не иначе. Особенно обрадовался этому прозвищу Толька Барахолкин и, хоть за эту свою маленькую радость ему не раз доставалось от Разумовского, никак не желал отказать себе в удовольствии, а посему нередко несся по коридору, истошно вопя на всю школу: «Ребята! Держите Фамилию! Она меня убьет!»

Из всего класса один лишь Шут ни разу не применил к Разумовскому этого прозвища ни в глаза, ни за глаза, а обращался к своему новому однокласснику всегда с подчеркнутым уважением и всегда по полному имени – Владислав.

Пустьяковий, впрочем, эпизод, и Шут здесь вроде бы ни при чем. Ведь получается, что человек сам себя подверг осмеянию, а Шут лишь удачно вставил реплику и предложил ярлычок, который дружно приклеили всем классом. Мы бы вообще об этом умолчали, но соответствующая запись в «Дневнике Шута» показалась нам не лишней интереса:

«Плывя по реке, царь поднялся на Обезьянью гору. Увидев его, стадо обезьян в испуге разбежалось. Только одна обезьяна прыгала то сюда, то туда, хвасталась перед царем своей

красотой. Царь улыбнулся, поманил обезьяну, а когда та приблизилась, велел слугам схватить ее и обезобразить...<sup>2</sup>

Сегодня Шут<sup>3</sup> вновь экспериментально проверил известную шутовскую истину: не надо высмеивать того, кто смешон сам по себе. Надо лишь помочь ему проявить себя, поставить на его пути ловушку, а он сам туда пойдет и сам захлопнет крышку. Вот он, голенький, растерянный и смешной, выросший за бумажной ширмой, защищавшей его от сквозняков и насекомых.

Но повозиться Шуту пришлось-таки. Пока просчитал Разумовского к физике, пока нашел подходящую задачку, пока убедил физика дать эту задачу на уроке. Но затраты полностью окупились.

Поистине верно говорится в стихах:

Сквозь заросли охотник пробирался,  
Он тигра убивать не собирался.  
Но хищный зверь, скользя неслышной тенью,  
За ним следил, готовый к нападению.

*(т. 4, с. 89).*

---

<sup>2</sup> Здесь и далее в своих дневниковых записях Шут использует, по-видимому, древние легенды и притчи, а также стихи. Ссылок на первоисточники он не дает, но и на авторстве своем, как можно будет заметить, не настаивает.

<sup>3</sup> «Дневник Шута» велся Валей Тряпишниковым от третьего лица.

## Глава II СКОЛЬКО ЛЕТ ШУТУ?

*Однажды Шута кто-то спросил: «Сколько лет тебе, Валя?» – «Вале – пятнадцать, а мне – шесть лет», – ответил Шут. «Почему шесть? Не понимаю», – удивился Задавший Вопрос. Шут улыбнулся, но ничего не ответил (т. 2, с. 27).*

Шуту действительно было шесть лет, а Вале Тряпишникову – пятнадцать. Все правильно. Из «Дневника Шута»:

«Существуют рожденный и нерожденный. Нерожденный способен породить рожденного, а тот не может не родиться. Поэтому всегда рождаются...

Лев Толстой помнил себя в два года. Шут же помнит не только сам момент своего рождения, но и то, что было до этого. Хотя то, до его рождения, кажется ему теперь чем-то очень смутным и расплывчатым, точно его и не было. Но оно было. Оно было унижительным и беспомощным. Оно было жалким и болезненным.

Тот случай с котенком. Разве может Шут забыть о нем, хоть и был он до его рождения. И как относились к нему, к тому, еще не родившемуся, в школе, во дворе. Везде. Или Синеглазого, который заставил Шута родиться, сделал из него сначала неумелого шутенка, наивного, подслеповатого, но потом постепенно выросшего в Настоящего Шута.

Как лучше описать то, что испытывал Шут, еще не появившись на свет? А вот как:

Подсунули немому горький плод. От горечи скривил бедняга рот. И горечь и обида жгут его, А он сказать не может ничего.

Как ребенок в материнской утробе. Беспомощный, зависимый, опутанный пуповиной и неспособный без нее ни дышать, ни есть, но уже давно чувствующий боль, имеющий собственное сердце, собственный мозг, собственную судьбу. Бедный, еще не родившийся на белый свет зародыш!

С днем рождения, Шут! Шесть лет назад ты сам принял свои роды, сам, скорчившись от боли, разорвал связывавшую тебя пуповину прошлой немощи, а потом впервые и самостоятельно вздохнул полной грудью, и закричал от боли и от радости, что ты появился...

Там, в лесу... Помнишь?» (т. 13, с. 311).<sup>4</sup>

Тут необходимо кое-что пояснить, иначе может быть непонятно. Не станем докучать читателю подробностями, а кратко опишем лишь те случаи, которые упоминаются в «Дневнике Шута».

Случай с котенком. Вероятно, Шут имеет в виду следующий эпизод. Шут тогда еще не родился, а Вале Тряпишникову едва исполнилось семь лет. Как-то раз, гуляя во дворе, Валя увидел, как двое мальчишек, года на два моложе его самого, мучили котенка. Один мальчик куском колбасы манил котенка к себе, в то время как его товарищ при каждой попытке котенка завладеть колбасой хватал его за хвост и оттаскивал в сторону. Котенок визжал от боли и разочарования, дрожал, пытался кусаться, а мальчишки смеялись. Неподалеку от них стояли их отцы и что-то оживленно обсуждали между собой, изредка поглядывая на своих детишек.

Валю эта сцена возмутила до глубины души.

– Ему же больно, – обратился он к одному из мальчишек, к тому, что держал за хвост котенка.

---

<sup>4</sup> Пусть не смущают читателя преувеличения и детская образность автора «Дневника». В том возрасте, в котором велся «Дневник» – Валя Тряпишников начал его в четырнадцать лет, – обычно склонны преувеличивать, а образность, как правило, бывает нарочито детской.

Мальчишка удивленно посмотрел на Валу, не выпуская визжавшего котенка, потом улыбнулся и миролюбиво объяснил:

– Не-а. Не больно. Мы же с ним играемся.

Ни слова больше не говоря, Валя схватил мальчишку за ноги и перевернул его вниз головой. Мальчишка принялся кричать и плакать, а Валя тихо шептал ему на ухо:

– Чего же ты кричишь? Я же с тобой играю. Тебе же совсем небольно.

Взрослые вмешались почти тут же. Сильные, грубые руки ухватили Валу за шиворот, отняли у него мальчишку, а самого оттащили к кустам и там долго крутили ему уши, точно собирались вырвать с корнем. Слезы лились из Валиных глаз, но он не издал ни звука. И лишь когда его пнули коленом под зад, толкнули в кусты и сказали: «Ну что, будешь знать, как обижать маленьких?!», – ответил: «Они мучили беззащитное животное. Ваши дети – живодеры».

– Какое еще животное? – возмутился папаша. – Тоже мне! Вали отсюда, пока уши тебе не открутил.

Дылда!

Вот и весь случай. Вроде ничего особенного, но целую неделю после него Валя не мог прийти в себя, потерял аппетит и плохо спал по ночам. Мучился пока еще не родившийся Шут. Но не уши были тому виной и не воспоминание о пережитом унижении. Другое не давало Вале покоя. Будучи прав, он понес наказание. Ведь не может же так быть, рассуждал Валя, чтобы справедливость возмещалась несправедливостью, а значит, где-то была допущена ошибка, где-то он, Валя, вел себя не так, как надо. «Но как надо было? В чем ошибка?» – терзался Валя.

Ну да Бог с ним, с этим случаем! Случай с Синеглазым, то есть с Юрой Сидельским, куда важнее для нас: ведь именно после него на свет появился Шут.

С Синеглазым Валя встречался одно лето на даче. Тот был на несколько лет старше Вали, на голову выше его и намного шире в плечах. Дачные мальчишки все боялись его, и те, которые при виде Синеглазого прятались за забором своих дач, и те, которые входили в его команду, «хоровую капеллу», как называл ее сам Синеглазый.

Что он был за человек? Позволим себе несколько зарисовок.

Когда Синеглазый справлялся с какой-нибудь из своих жертв, он выстраивал «капеллу» вокруг места экзекуции и заставлял мальчишек громкими голосами петь песни, дабы заглушить крики. Песенный репертуар был весьма обширен, однако чаще всего исполнялись три хоровых произведения: «Вечерний звон», «Из-за острова на стрежень» и «Вихри враждебные». Сам Синеглазый воспитывал лишь своих, тех, что входили в «капеллу», а чужаками занимались двое его подручных, так называемые «барабанщики», которым, по его словам, медведь наступил на ухо, а посему ни на что другое они не годились. В последнем случае Синеглазый исполнял роль капельмейстера, весьма профессионально дирижируя хором, а заодно и двумя своими «барабанщиками», показывая им, когда надо «вступить» и когда прервать «соло».

Другой штришок. Синеглазый был очень вежливым мальчиком. Воспитывая одного из своих «хористов», обычно вкрадчивым голосом укорял его: «Послушай, дорогой, ты ведешь себя кое-как. Но ты не горюй, мы тебя будем воспитывать». И воспитывал, стараясь при этом примерно унижить своего воспитанника: под звуки «Вечернего звона» стегал крапивой, заставлял до полного изнеможения прыгать на одной ноге, рвать зубами и жевать траву, пить из лужи и т. п. Этих «т. п.» у Синеглазого было в разнообразном изобилии, причем воспитываемый часто мог выбрать то, что ему больше по вкусу. «Ничего, – ласково приговаривал Синеглазый, – потерпи немного. Зато я сделаю из тебя настоящего человека». Делать ему это было несложно, так как самому старшему в «капелле» еще не исполнилось одиннадцати лет, а Синеглазый уже достиг тринадцати.

Со взрослыми Синеглазый был особенно вежлив, здоровался не брошенным на лету неразборчивым «здрассте», как обычно здороваются в его возрасте, а остановившись, учтиво склонив голову и тщательно выговаривая каждое слово: «Здравствуйте, Татьяна Сергеевна!», или: «Доброе утро, Павел Иванович!» Повстречавшись с женщиной, несущей ведра воды или сумки с провизией, отбирал у нее ношу и не успокаивался, пока не подносил тяжесть к самому дому. Того же требовал от своей «капеллы» и с особой строгостью наказывал тех, кто пренебрегал этими обязанностями. Так что, стоило «капелле» завидеть вдалеке одинокую женскую фигуру, с тяжелой поклажей бредущую со станции, и все, как по команде, срывались с места, коршунами налетали, силой вырывали и нередко даже дрались между собой за право тащить сумку или сетку с картошкой; никому, понятно, не хотелось жевать траву или пить из лужи.

Нет ничего удивительного в том, что едва ли не все взрослые были в восторге от Синеглазого, советовали своим детям брать с него пример и с негодованием отмахивались от любых поступавших на него жалоб: «Да нет, не может быть! Он такой воспитанный мальчик».

К нашим штришкам добавим, что глаза у Юры Сидельского были действительно синими, причем синевы редкостной, чистой, завораживающей, за что он и получил свое прозвище; что он очень прилично играл на гитаре, в отличие от большинства своих сверстников не брэнчал на ней одни и те же фальшивые аккорды, а исполнял главным образом классический концертный репертуар; что отец у него был известный ученый, доктор, профессор и даже, кажется, член-корреспондент. На даче, правда, его никто никогда не видел; Синеглазый жил там с двумя старшими сестрами и матерью, безудержной курильщицей и одержимым грибником. Когда начиналась грибная пора... Но это к нашему рассказу уже не относится.

Наш герой познакомился с Синеглазым на следующий день после того, как семейство Тряпишниковых переехало на дачу, снятую на летнее время. В первую же свою прогулку по поселку Валя наткнулся на «капеллу» и тут же был ею окружен для выяснения личности.

Как «выяснял личность» Синеглазый? А вот как.

Валя даже испугаться не успел, как уже лежал на земле, сбитый подножкой, и слушал первый куплет «Вечернего звона». После первого куплета у него поинтересовались, откуда он взялся. Он принялся объяснять, но не успел договорить до конца, так как двое парней подняли его с земли и тут же снова бросили наземь, после чего приступили ко второму куплету.

Перед третьим куплетом с чувством безысходной тоски Валя понял, что его вот-вот начнут бить. И тут случилось то, чего не только «капелла» под управлением Синеглазого, но и сам Валя от себя не ожидал.

Стоя на коленях, прижав подбородок к груди, чтобы не тереться лицом о чьи-то грязные штаны, Валя вдруг запел тот единственный куплет, который пришел ему на память:

Их многих нет Теперь в живых, Тогда веселых, Молодых.

Дальше он не помнил, а потому запел сначала, то, что уже слышал, стараясь петь как можно выше и громче. И даже делал «бом-бом». Потом вдруг вскочил на ноги, отыскал взглядом самого взрослого из обступивших его мальчишек и, улыбаясь и как бы ему одному адресуя свою песню, пропел:

О юных днях В краю родном, Где я любил, Где отчий дом.

Пока он пел, тот, кому он улыбался, – а это был Синеглазый, – внимательно его разглядывал, а когда пение кончилось, вдруг хитро прищурился и, едва заметным кивком головы приказав двум «барабанщикам» вернуться на свои места, объявил:

– Ау этого малыша неплохой слух. Честное слово!

«Капелла» тут же заплодировала. Синеглазый выждал, пока аплодисменты смолкли, и сказал, обращаясь к Вале:

– Хочешь, я возьму тебя в свою капеллу? Будешь у меня первым сопрано.

– А бить вы меня не будете? – спросил Валя.

– Если не будешь фальшивить, – ответил Синеглазый и довольно ухмыльнулся.

Так Валя был принят в «капеллу».

Нет, Шут еще не родился. «То был лишь первый толчок, первая проба своего еще не сформировавшегося до конца и еще не освобожденного из скрюченного положения тела, проба инстинктивная и бессознательная» (т. 13, с. 312). Так потом, спустя шесть лет, Шут будет вспоминать об этом случае.

Шут появился на белый свет лишь через месяц после того, как познакомился с Синеглазым и был принят в «капеллу». К этому времени он уже наизусть знал весь ее песенный репертуар. Более того, он – не по собственной, правда, воле – даже ввел новый жанр в «концертную программу» – жанр конферанса и юмористических импровизаций, с которых теперь начинались все «воспитания». Особого удовольствия от своей новой деятельности он, однако, не испытывал. Напротив, после каждой экзекуции, в которой принимал участие, презирал себя и клялся себе в том, что отныне и близко не подойдет к Синеглазому и его компании, уже не говоря о том, чтобы подыгрывать им своими шуточками. Но что-то необъяснимое и властное тянуло Валу к Синеглазому, заставляло нарушать данные себе клятвы и выталкивало на середину круга, образуемого «капеллой» вокруг «воспитуемого».

Как потом признается себе автор «Дневника», не родись Шут, вернее, не помоги случай ему родиться, Валя довольно быстро превратился бы в жалкого фигляра, привыкшего унижать слабых и одиноких на потеху сильного стада. Но...

Жил в поселке шестилетний Сережка Скуратов. В своей семье он был шестым ребенком. Отец его, одноногий и однорукый калека, нигде не работал, чуть ли не каждый день был пьян, пропивая свою пенсию и большую часть заработка жены, измученной и опустошенной безрадостной жизнью женщины. Дети в семье Скуратовых росли почти беспризорными, и самым беспризорным был Сережка.

Вечно чумазый, голопузый и босой, с кровоподтеками по всему телу, с соплями, прилипшими к верхней губе, мыкался он по поселку, собирая сигаретные бычки для двух старших братьев и воруя клубнику на чужих огородах – для себя. На воровстве своем частенько попадался. Одни драли ему уши; другие жаловались отцу, который хотя и встречал жалобщиков бранью, но все-таки порол своего младшенького; а третьи, которых в поселке, к счастью, было большинство, отловив Сережку на своем огороде, вели его в дом, мыли и кормили мальчишку чем-либо посущественнее ворованной клубники. Никакой благодарности за это Сережка, однако, не испытывал и у тех, кто мыл и кормил его, воровал значительно чаще, чем у тех, кто драл ему уши или жаловался отцу. Но это к нашему рассказу не относится...

Так вот, этот самый Сережка Скуратов с некоторого времени стал таскаться за «капеллой». Его пытались отвадить, брезгуя его обществом, цыкали на него, отшвыривали с дороги, как паршивого котенка. Но с каждым днем он все больше привязывался к «капелле» и все безбоязненнее следовал за ней по пятам, так что в конце концов с его присутствием смирились, как стая акул уживается с рыбами-прилипалами.

Однажды, когда «капелла» в отсутствие какого-либо занятия слонялась по поселку, взгляд Синеглазого случайно упал на Сережку, волчком крутившегося у него под ногами, и в воспаленном бездельем Синеглазовом мозгу родилась идея, которую он тут же принял, как говорится, претворять в жизнь. Послал двух своих подручных в магазин за ромовыми бабами, а когда посланцы вернулись с покупкой, поручил «барабанщикам» отогнать Сережку, а сам расковырял пальцем одну из булок, извлек сердцевину и велел «зафаршировать» разной живностью – головастиками, болотными жуками и дождевыми червями, – незаметно залепив «фаршировку» мякишем. После этой процедуры «барабанщики» привели Сережку, и на его глазах шестеро из «капеллы» – в том числе сам Синеглазый – стали лакомиться ромовыми бабами, демонстративно смакуя кушанье.

Сережка смотрел на них с завистью и с каким-то сладостным страданием в глазах.

– Эх, ребят! Нехорошо получилось! – словно вдруг опомнился Синеглазый. – Про пацаненка-то забыли!.. Ну-ка, Валя, угости его! У меня тут еще осталась одна штучка.

Нечто подобное судороге пробежало по Валиному лицу, но он подчинился команде, взял у Синеглазого «фаршированную» булку и отнес ее Сережке.

Опешив от обрушившегося на него счастья, Сережка вцепился зубами в лакомство, судорожно проглотил откушенный кусок и только тут обнаружил начинку. Но не выбросил булку, а принялся старательно выковыривать напиханных в нее тварей.

Кто-то из «капеллы» прыснул со смеху, но тут же поперхнулся смешком от звонкой пощечины Синеглазого.

– Тише, чудаки. Аппетит пацану испортишь, – предостерег «капельмейстер» и, повернувшись к Вале, приказал: – А ты чего стоишь? Давай конферанс! И в полную силу работай!

Тут-то все и произошло. Вдруг что-то непонятное и сильное толкнуло Валу в спину, швырнуло его к Сережке, заставило вырвать у того булку, а потом кинуло к Синеглазому...

Холодный, горьковатый воздух обжег легкие. Шут поперхнулся им, сморщился от пронзившей его незнакомой боли, вытянул вперед руку с ромовой бабой, точно защищаясь от чужих, удивленных лиц, окруживших его со всех сторон, и вдруг закричал от боли, от страха и радости, неизвестно откуда появившихся, но охвативших все его тело, с ног до головы. Вернее, это Шуту показалось, что он кричит. На самом деле то был лишь хриплый шепот, вкрадчивый и злорадный, каким обычно говорил Синеглазый.

– Видишь эту булочку, Юрочка! – шептал только что родившийся Шут, пожирая влюбленным взглядом Синеглазого и радостно ему улыбаясь. – Я тебе обещаю, что скоро ты сам будешь ее кушать, а мы все будем смотреть на тебя и смеяться! Я сделаю из тебя человека, малыш!

Синеглазый настолько удивился такому «конферансу», что вопреки традиции без всякой организационной подготовки и хорового оформления ударил Шута в зубы. Шут покачнулся, но удержался на ногах и, отскочив в сторону, продолжал все тем же шепотком и с той же улыбкой:

– Не надо так нервничать, Юрочка! Ведь я же пошутил! Неужели ты мог подумать...

– Вот так-то лучше, – проговорил Синеглазый и, подойдя к Шуту, снова наотмашь ударил его. Шут упал и тут же вскочил на ноги. Губа у него была разбита, но он, словно не замечая этого, шептал, глядя Синеглазому прямо в глаза:

– Нет, Юрочка, бить я тебя не стану! Я не бью тех, кто слабее меня! Я придумаю для тебя что-нибудь поинтересней!

Потом его повалили на землю. Двое «барабанщиков» держали его за руки, а Синеглазый стегал крапивой. В тот раз исполняли «Из-за острова на стрежень» и Шута не отпустили, пока не допели эту длинную песню до конца.

Никто из ребят не сомневался, что Шут будет теперь за три версты обходить «капеллу». Поэтому все очень удивились, когда на следующий день он первым явился на традиционное место сбора, к большой сосне над рекой, и повел себя со всеми как ни в чем не бывало. Более того, он вдруг стал выказывать удивительную преданность Синеглазому, с жадностью ловил его взгляд, первым кидался выполнять любое его приказание, ни на шаг не отставал от своего повелителя и часами болтался возле его дачи, когда тот обедал или занимался на гитаре. Короче, из кожи лез вон, чтобы угодить, и в конце концов добился своего: Синеглазый снял с него опалу, приблизил к себе, разрешил заходить к себе на дачу и даже брал Шута с собой на рыбалку, куда ни разу не брал ни одного из своих «хористов».

А через две недели, когда до начала школьных занятий оставался еще целый месяц, Синеглазый вдруг исчез из поселка: уехал в город, ни с кем из «капеллы» не попрощавшись, но отдубасив двух «барабанщиков», встретившихся ему по дороге на станцию.

«Капелла» пребывала в полном недоумении. Никто не догадался, что причиной всему был Шут, который за день до этого подошел к Синеглазому, в уединении удившему рыбку на всячем мосту через реку, и без долгих предисловий сообщил ему:

– Хватит, Юрочка. Пора кончать... Слушай теперь меня внимательно. Ты ворует деньги у своих родителей. Из той небольшой картонной коробочки, которая у вас в шкафу на второй полке сверху. Твоя мама думает, конечно, не на тебя, а на вашу домработницу.

– Чего-о?! – От неожиданности Синеглазый выпустил из рук удилище, и оно упало с моста в воду.

– Это не все, – продолжал Шут. – Твой старший брат шею тебе свернет, если узнает, что ты разбил его японский магнитофон и закопал обломки у колодца.

– Ах ты!.. – вдруг прошипел Синеглазый и, стиснув кулаки, двинулся на Шута. – Да я тебя!.. Я тебя, гаденыш!..

Но Шут не отскочил в сторону, не закричал от страха. Снизу вверх глядя на своего могучего разъяренного противника, наш девятилетний хлюпик лишь безмятежно пожал плечами и произнес усталым тоном:

– Не боюсь я тебя. Это я раньше тебя боялся. А теперь я сильнее. Ну, избьешь ты меня, а дальше? Все равно – куда ты теперь от меня денешься?

И столько спокойной решимости было в его словах, столько глубочайшего безразличия к собственной участи, что Синеглазый вдруг испуганно спросил:

– Чего-о?

Шут не ответил, повернулся спиной к Синеглазому и пошел прочь, насвистывая себе под нос «Вихри враждебные». Перейдя же на другую сторону реки, обернулся и крикнул:

– У тебя есть только один выход! Завтра перед всей капеллой съешь такую же булку, какую ты дал Сережке Скуратову!

Целых три дня Шут перед зеркалом репетировал эту сцену, проигрывал различные варианты своих реплик в зависимости от того, как поведет себя в ответ Синеглазый, искал нужные интонации и выражения лица. Целых три дня он готовил себя к поединку и все-таки, когда ушел с реки и почувствовал себя в безопасности, он в изнеможении упал на траву, и затрясся всем телом, и застучал зубами, уже не в силах долее сдерживать охвативший его страх.

В этом смешном положении его и настиг опомнившийся Синеглазый...

Не станем описывать сцены, которая произошла между ними. Скажем лишь, что Шут вернулся домой очень поздно, что одежда на нем была разорвана и вымазана в грязи, что под глазом у него был синяк, а губы были в кровь искусаны. Отметим также, что при этом вид у Шута был счастливый и на вопрос о том, где же он все-таки пропал, он с восторгом объявил:

– Давил тараканов! Один был маленький и трусливый, а другой – сильный и наглый. Но я раздавил и того и другого!

...На следующий день Синеглазый удрал в город. Шуту этого было довольно.

Остается непонятным, каким образом Шуту удалось собрать столь действенные улики против Синеглазого. «Дневник Шута» на этот счет умалчивает. Впрочем, одна запись, сделанная в его середине, как будто кое-что проясняет:

«Сегодня Шут вспомнил о своем первом поединке. Каким смешным и неумелым шутенком он был! И лишь в одном он был Шутом уже тогда – в своей страсти к Исследованию. Долго, терпеливо и настойчиво он исследовал Синеглазого. До сих пор запах жимолости, росшей вдоль забора, не исчезает из памяти, а колючие ветви царапают Шуту лицо. Шорох собственных шагов под чужим окном, крупницы истины: распахнутая форточка, раздвинутая сквозняком штора, лучик карманного фонаря, стыдливо шарящего в темноте...